

1812: ДВЕ МЕТАФОРЫ*

Р. ЛЕЙБОВ

1.

Предлагаемая статья является частью работы, посвященной риторике 1812 года¹. Такая постановка вопроса нуждается в пояснении.

Прежде всего, объектом нашего рассмотрения будут не «исторические события», а их осознание современниками, а еще точнее — словесное оформление этого осознания в текстах разных жанров (дневники, переписка, воспоминания, официальные документы, церковное красноречие, журналистика, художественная литература).

Мы не претендуем здесь на исчерпывающий анализ обозначенных вопросов. В центре нашего внимания будут преимущественно явления дворянской культуры, конкретнее — ее московского пласта. В дальнейшем мы намереваемся расширить поле анализа.

Наш подход при этом значительно отличается от «метаисторического» взгляда на источники, как он представлен, например, в книге Х. Уайта «Metahistory» [White]. Уайт справедливо обращает внимание на литературный, риторический характер исторических описаний и пытается обнаружить соответствия между жанрами, типами идеологий и риторическими стратегиями в работах крупнейших историков XIX в.

Основное различие между нашим подходом и «метаисторией» Уайта состоит в материале. Уайт анализирует сложившиеся идеологии, зафиксированные в профессиональных текстах. Мы не отказываемся от рассмотрения

* Статья была написана благодаря поддержке Шведской Королевской Академии. Автор выражает глубокую признательность коллегам, ознакомившимся с работой до ее публикации и высказавшим ряд ценных замечаний.

исторических/историософских текстов, но берем их под интересующим нас углом зрения — как следствия смыслов, выработанных в 1812 г. В центре нашего внимания — непосредственная рефлексия происходящего участниками и ее отражение в текстах, не «язык», а «речь» (в сосюрловском понимании), не идеологии, а «имагологии», образы истории в сознании современников, неотрефлексированные еще «профессионально», но выраженные в текстах и скрывающие богатейший смысловой потенциал. Это следует иметь в виду в дальнейшем — когда мы будем говорить об «историческом» дискурсе, мы будем употреблять это определение именно в таком — довольно специфическом — значении.

2.

События 1812 г. были беспрецедентны в русской истории имперского периода. Для того, чтобы лучше понять трансформации дискурса, вызванные ими, необходимо учитывать следующие факторы. Во-первых, впервые враг не просто угрожал империи, но вторгся в ее внутренние области. Кульминацией этого «невозможного», с имперской точки зрения, вторжения в сознании русских 1812 г. стала оккупация Москвы (заметим, что для военных и политиков с обеих сторон было ясно, что это — кульминация русской кампании Наполеона, только завершение ее виделось сторонам по-разному). В сознании современников актуализировалась аналогия с 1612 г., подкреплённая «хронологической рифмой»:

«Эта древняя столица двести лет жила в совершенном спокойствии, и вот теперь она взята ненасытным Наполеоном» (Из дневника Н. Д. Дурново. 7 — 19. 09. 1812) [1812 год. . . , 92].

Имперское сознание предполагает расширяющееся пространство Империи, которому предстоит вобрать в себя «хаотическое» «периферийное» «варварское» пространство. Выработанный за 100 лет язык не знал способов описания того, что произошло в 1812 г. Когда коллежский асессор Сокольский, остававшийся в оккупированной Москве, начинает свое письмо, содержащее размышления о случившемся с Россией, словами:

«Возвратясь, так сказать, из изгнания, из постыдного, неожиданного плену <...>», [Щукин, 1, 1], — мы склонны видеть в этом странном неразличении внутреннего и

внешнего, изгнания и плена, не только следствие психологической травмы коллежского асессора, но и травмы языка, не имеющего ресурсов для описания происходящего. Другая современница событий, М. А. Волкова, прямо сформулировала это (письмо от 17-го сентября 1812):

«Что сказать тебе, с чего начать? Надо придумать новые выражения, чтобы изобразить, что мы выстрадали в последние две недели» [Волкова, 596].

Этой «травматизации» языка 1812 г., несомненно, способствовала и стремительность событий. Война разворачивалась с исключительной скоростью. Продвижение Наполеона едва ли не обгоняло осознание совершающегося. Столь же кратковременной была и оккупация Москвы (с начала сентября до начала октября). Именно это время было временем наиболее активного непонимания современниками происходящих событий и, следовательно, наиболее активного смыслопорождения, поисков языка описания. Это определяет 1812 г. как центр нашего интереса (но не отменяет необходимости обращения к более поздним или ранним источникам).

Еще одним важным моментом, отличающим Отечественную войну (и предшествующие ей антинаполеоновские войны) от войн XVIII в. с Турцией или Пруссией, было окончательно сложившееся к началу XIX в. в России русско-французское культурное двуязычие. Это — помимо упоминавшейся неготовности «имперского» дискурса к описанию вторжения извне, — еще один источник смысловых напряжений между «внешним» и «внутренним». Галлофобия, захватившая дворянское общество в начале войны, нисколько не мешала продолжать использовать французский язык в письмах и в устном общении. Это напряжение было глубоко осознано Толстым в процессе работы на «Войной и миром»; для нас важно, что оно осознавалось и современниками эпохи антинаполеоновских войн.

3. Нижегородские эмигранты

Историки русской эмиграции, кажется, не задавались вопросом, когда именно русские впервые применили к себе сам термин «эмигранты»? Между тем, это произошло при достаточно необычных обстоятельствах, когда никто из этих «эмигрантов» родину не покидал — во время бегства из Москвы летом 1812 г. М. О. Гершен-

зон в книге «Грибоедовская Москва» обратил внимание на это курьезное словоупотребление [Гершензон, 34] — как и само заглавие книги, он обнаружил его в публикации писем М. А. Волковой (заглавие публикации — «Грибоедовская Москва» — принадлежит переводчице писем М. Свистуновой или редакции «Вестника Европы»). Говоря о москвичах, обосновавшихся в Тамбове, Волкова замечает: «Здесь есть один дорогой в этом отношении <серьезный, несветский — Р. Л.> человек; как и мы, он несчастный эмигрант. Это г. Мертваго <...>» [Волкова, 600].

Разумеется, Волкова употребляет французское слово, по-русски чаще использовали кальку — «изгнанники». Не менее важно и другое — русское слово «изгнанники» было именно идеологической калькой французского термина и сохраняло часть его коннотаций.

Однако и в русском языковом контексте можно встретить слово «эмигранты». В письме к М. С. Воронцову из Петербурга от 5 августа 1812 г. Н. М. Лонгинов сообщает: «Город наполнен нашими эмигрантами из Курляндии и Польши, так что уже в трактирах нет ни угла порожного. <...> В числе прочих эмигрантов г-жа Бениксен занимает не последнее место» [Самойлова, 156–157].

Мы уже говорили о том, что середина 1812 г. характеризуется в России интенсивными поисками нового языка для описания событий новейшей истории. Как обычно, эти поиски обратились к французскому источнику — таким источником стал язык самоописания французских эмигрантов-роялистов, значительное число которых обосновалось в России и давно уже стало частью московского общества. Мало того, «роялистский дискурс» стал к 1812 г. частью «щегольского дискурса» московских салонов. «Галлороссы», не отказавшись от французских пристрастий, отождествили их со старым режимом, а себя — с жертвами революции, продолжением которой для роялистов была наполеоновская империя. В исключительно колоритных воспоминаниях А. Г. Хомутовой мы находим описание московского светского общества лета 1812 г.: «В ту пору мы с М. Н. Дурновой часто езжали обедать к ее брату <...> Н. Н. Демидов, желтый, измятый, сгорбленный, убитый воздухом родины <...>, жиденьким голосом изливал свои патриотические чувства и бранил Французов за то, что по их милости он вынужден был покинуть любезную ему Францию. Е. А. Демидова

спрашивала: что станется с эмигрантами, если они все возьмутся за оружие? «Они будут расстреляны», холодно отвечал Д. Н. Дурнов, понюхивая табак из своей прекрасной табакерки с эмалью. Она бледнела, а другие улыбались или поглядывали на малахитовые часы, которые она, как рассказывали, остановила в минуту своего прощанья с графом Полиньяком, командиром Апшеронского полка <...>²» [Хомутова, 313].

Характерно, что москвичи, симпатизировавшие некогда первому консулу Бонапарте, то есть не ориентировавшиеся на «старый режим», занимали к 1812 совершенно противоположную позицию — это объединяет столь несхожих людей, как С. Глинка и Карамзин. Знаменателен эпизод их встречи в 1812 г.: Глинка, заметив экипаж уезжающего из Москвы Карамзина, крикнул ему: «Куда же вы бежите от своих французов?» (в обстановке, сопровождавшей оставлению Москвы, эти слова могли спровоцировать толпу). Глинка в запальчивости отождествил Карамзина 1812 года с «путешественником-галлороссом». Но Карамзин, переживший, как и Глинка, в начале столетия период увлечения Наполеоном, стоял в это время на совершенно других позициях. Летом 1812 г. он близок к Ростопчину, живет в его доме и пишет И. И. Дмитриеву: «<...> Готов умереть за Москву, если так угодно Богу <...> Хорошо, что имеем градоначальника умного и бодрого, которого люблю искренно как Патриот Патриота» [Письма Карамзина, 164].

Таким образом, еще до бегства из Москвы сложился образ «французского русского эмигранта», и еще до бегства этот образ мог оцениваться по-разному. С одной стороны, московский дворянин мог отождествлять себя с эмигрантом-роялистом, противником Наполеона, бегущим от «сына Революции» или сражающегося с ним, как граф Полиньяк и многие другие. С другой стороны, Революция могла рассматриваться как следствие старого режима и «французского духа» вообще (сходные мысли высказывались и французскими публицистами, в частности, Шатобрианом). При таком взгляде уподобление русских дворян, оставляющих Москву вместо того, чтобы умереть у ее стен, французам-эмигрантам сопровождалось осуждением. Глинка отводил эту роль Карамзину, а Карамзин — В. Л. Пушкину. В том же письме к Дмитриеву Карамзин, противопоставляет Василия Львовича «воину» Жуковскому: «<...> отправил жену и детей в Ярославль

<...>; сам живу у графа Ф. В. Ростопчина <...>. Наши стены ежедневно более и более пустеют: уезжает множество <...> Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда на встречу к неприятелю. Увы! Василий Пушкин убрался в Нижний!³» [Письма Карамзина, 164—165]

Как известно, ростопчинская патриотическая риторика не совпала с планами командования, и всенародная оборона Москвы не состоялась. Состоялся массовый исход из Москвы. Согласно подсчетам А. Г. Тартаковского, всего 5,7% дворян остались в столице [Тартаковский — 73]. Остальные бежали в имения или представлявшие безопасными города: в первую очередь, Владимир (здесь сосредоточилось московское городское и губернское начальство и значительная часть чиновников), Ярославль, Тамбов, Казань и Нижний Новгород. Два последних центра были наиболее привлекательны по близости к волжским имениям многих московских дворян и отдаленности от боевых действий. Описание типичных маршрутов московских дворян летом — осенью 1812 г. см. в анонимном дневнике, опубликованном В. В. Калашем [Калаш, 54].

«В Нижнем и в Казани, куда удалилось большинство Москвичей, уже стали веселиться и давать балы», — замечает Хомутова [Хомутова, 327] (речь идет о времени после оставления Москвы неприятелем).

Уже сложившийся стереотип «эмигранта» получил с бегством из Москвы новый импульс. Русские изгнанники продолжали активно пользоваться языком изгнанников французских. В тех же воспоминаниях мы находим образцы надписей, оставляемых московскими дворянами на стенах постоянных дворов по пути бегства:

“Le mot adieu, ce mot terrible!”

“Distinguez-vous et ne m’oubliez pas!” [Хомутова, 322]

Кажется, сами «эмигранты» не замечали парадоксальности своего положения изгнанников на родине: описывая гуляния в Рыбинске, Хомутова замечает: «<...> но Волга утратила для нас свою прелесть и поэзию: ее волны отражали в себе небо изгнания» [Хомутова, 323] (эта формулировка тем более примечательна, что представление о Волге как о «матери русских рек» сформировалось не только к 1830-м гг., когда были написаны воспоминания Хомутовой, но уже к началу XIX в.).

Нижний Новгород и Казань стали центрами сосредоточения московских дворян не только по названным причинам — сюда переводились московские канцелярии, перевозились архивы, в Нижний были высланы проживавшие в Москве иностранцы (см. переписку нижегородского губернатора А. М. Руновского с Ростопчиным [Щукин, 1, 148]). В первую очередь внимание следует обратить на Нижний Новгород. Как писал С. Глинка: «<...> Носился слух, будто бы он <Нижний — Р. Л.> заменит сгоревшую Москву» [С. Глинка, 97].

Нижний и был в некотором смысле заменой Москвы — здесь собралась большая часть московского общества. Приведем несколько свидетельств:

«Все наши московские знакомые в Нижнем, исключая Пушкиных и г-жи Лобковой с матерью. В начале волнения все бросились в Нижний, считая его безопасным убежищем, а теперь, поуспокоившись, стараются забраться в отдаленные места <...> На прошлой неделе меня забросали письмами из Нижнего» [Волкова, 269].

«Здесь я нашел всю Москву <...>» [Батюшков, 2, 232] (письмо Вяземскому от 3 октября).

«Нижний заступает пока место Москвы: видим людей, которых там видали <...>» [РА, 233] (Карамзин, письмо Вяземскому от 14 ноября).

В Нижнем находились в течение более или менее длительного времени Карамзин, А. Ф. Малиновский, Бантыш-Каменский, С. Глинка, Батюшков, В. Л. Пушкин, то есть значительная и авторитетная часть московских литераторов (следует учитывать, что в это время Москва имела репутацию центра русской литературы). Такая концентрация литературных сил в одном месте делала Нижний своеобразным центром русской интеллектуальной жизни 1812 г. — на это 30 лет спустя обратил внимание автор статьи в «Северной Пчеле» «Общество литераторов в Нижнем Новгороде, в 1812 году» [СП]. Для нас значимо, однако, не только пребывание в Нижнем большого количества литераторов, но и то, что Нижний в это время представлял именно всю Москву, «грибоедовскую», светско-салонную, щегольскую, являясь в этом смысле (если помнить об «эмигрантском дискурсе») предшественником «русского Парижа» и «русского Берлина» XIX века: «У Архаровых собирается вся Москва или, лучше сказать, все бедняки <...>, и я хожу к ним учиться физиономиям и терпению.

Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: *point de paix!*» [Батюшков, 2, 232] (письмо Вяземскому от 3 октября).

Позднее, вспоминая в занятом русскими войсками Париже это время, Батюшков напишет Е. Г. Пушкиной: «<...> все забываю и мысленно переносюсь в Нижний, то на площадь, где между телег и колясок толпились московские франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотический обед Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышало любовью к отечеству, где Василий Львович, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о *Наполеоне*, *гордящемся на стенах древнего Кремля*, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществах французской словесности, то на балы и маскарады, где наши красавицы <...> прыгали до первого обморока в кадрилях французских, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как, и проклиная врагов наших» [Батюшков, 2, 281 — 282].

При этом значимым является и то, что в перспективе аналогии с 1612 г. Нижний был далеко не нейтральным местом. Отсюда началась освободительная война в 1612 г. Сопоставление с современностью, иронически изображенной в письмах Батюшкова, вызывало у С. Глинки гораздо более горькие чувства: «Нижний 1812 года обширною отмежевался полосой от того Нижняго 1612 года, когда на стогнах его гремел голос мясного продавца Космы Минина Сухорукова: "Продадим дома наши! заложим жен и детей!" На берегах Волги, при слиянии с нею Оки, в стенах Нижняго *большой Московский свет* соединялся с *большим Нижегородским светом*. Были визиты, был бастон, были званые обеды. Представьте картину 1612 и картину нынешнего 1812 года, и вы увидите в исполинской России *две России*, различные внешним видом, нравами, обычаями и образом мыслей. Как это и отчего? Сочинитель записок замечает, Историк дополняет» [С. Глинка, 119 — 120].

Характерным образом и здесь С. Глинка оказывается дословно близок к Карамзину, писавшему И. И. Дмитриеву из Нижнего: «Кто на Тверской или Никитской играл в Вист или Бостон, для того мало разницы: он играет и в Нижнем» [Письма Карамзина, 168].

Эта линия обличения «смешения французского с нижегородским», отразившись в «Письмах...» Муравьева, дошла до Грибоедова и Загоскина. Смешные черты нижегородского «эмигранта»-галломана сконцентрировались для современников в лице В. Л. Пушкина. Выработанная еще до 1812 г. пародийная маска щеголя-галломана, несомненно, служившая в «карамзинистском» кругу — прежде всего у И. И. Дмитриева — цели отвести от Карамзина обвинения в «обезьянничании» (как маска князя Шаликова вобрала в себя пародийные черты «Ахалкина»), успешно сочеталась с новым статусом «эмигранта». Характерно, что Василий Львович стал автором своеобразного гимна нижегородской и шире — московской — «эмиграции» 1812 года. Его послание «К жителям Нижнего Новгорода» (процитированное и в приведенном выше письме Батюшкова) было настолько популярно, что его даже положили на музыку. Как вспоминает А. Ф. Кологривова, «Нам Москвичам казалось, что мы лишились своей родины, дорогой нашей Москвы <...> Я помню, как однажды в это время мы были у <...> Федора Григорьевича Сухотина, тоже Москвича; одна из дам собравшегося общества запела романс, сочиненный Алексеем Михайловичем Пушкиным <ошибка, подтверждающая, что ирония судьбы преследовала В. Л. всю жизнь — Р. Л.>, удалившемся в то время в Нижний-Новгород. Мелодическим голосом своим передавала она слова:

Примите нас под свой покров,
 О Волжских жители берегов;
 Мы все друзья здесь, все родные,
 Все дети матушки-Москвы.

Слезы покатались у всех бывших тут; некоторые с трудом могли сдерживать рыдания» [Кологривова, 344 — 345].

История сочинения этого «романса» неизвестна, известно, однако, что еще до бегства в Нижний В. Л. Пушкин был первым претендентом на его создание, причем отчасти мог быть спровоцирован своим злым гением и родственником (сам В. Л. называл его исключительно «однофамильцем») Алексеем Михайловичем: «В. Л. Пушкин, возводя глаза к небу и подымая руки, декламировал: "Москва, России дочь любима!" Мы грустно слушали его, когда внезапно появившийся Алексей Михайлович ударил его по плечу со словами: "да полно тебе чужим умом жить!"» [Хомутова, 321 — 322]

«Василий Львович испускал громкие вздохи, и Алексей Михайлович заметил ему: "Да напиши ты жалобную песенку; теперь как раз время развернуться твоей плаксивой Музе. Впрочем, этот дурак ничего не умеет сделать во время: он и не подозревает, что его отечество на краю гибели, как во время оно не подозревал, что я был в связи с его женой"» [Хомутова, 318].

Конечно, следует иметь в виду, что мемуары Хомутовой написаны спустя много лет, однако соотношение ролей, очевидно, изображено верно: Батюшков в письме Вяземскому из Нижнего [Батюшков, 2, 238, письмо от 7 декабря] сообщает, что А. М. Пушкин пародировал послание Василия Львовича (эта пародия до нас не дошла). Не один злоязычный А. М. Пушкин видел в этом послании комическую сторону. По свидетельству Вяземского, «Ив. Ив. Дмитриев любил Пушкина, но не щадил его своими шутками: он говорил, что эти стихи напоминают ему колодника, который под окном просит милостыню и оборачивается с ругательством к уличным мальчишкам, которые под окнами дразнят его» [ОА, 243].

Дмитриев имеет в виду, очевидно, контраст между «жалобным» рефреном и патетикой заключительных строк послания (текст см.: [Поэты... , 673—674]). Примечательно, что сам В. Л. Пушкин пытался вернуться к образу «нижегородского изгнанника» — посетив в 1814 г. Нижний, он пишет послание «К Д. В. Дашкову», воспроизводящее размер и темы Батюшкова-Грессе («Мои пенаты»), указывая на географическую локализацию места изгнания:

Мой милый друг, в стране,

Где Волга наравне

С берегами протекает

И, съединясь с Окой,

Всю Русь обогащает

И рыбой, и мукой,

Я пресмыкаюсь ныне <...> [Поэты... , 674],

В текст этого послания также введены упоминания о 1812 г.; сопоставление с письмом В. Л. Пушкина Вяземскому 1812 г. см. в прим. Е. Н. Дрыжаковой [Поэты... , 867].

Фигура В. Л. Пушкина в Нижнем становится живым воплощением того «осуждающего» модуса отношения к «эмигранту», о котором мы упоминали выше. Интересно отметить подчеркивание материальных потерь при опи-

сании бедствий Василия Львовича (напр., в письме Батюшкова Вяземскому от 3 октября, где также отмечено: «От печали Пушкин лишился памяти и насилу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего мы дожили!»).

Но когда те же авторы пишут о себе и своих потерях, тон, разумеется, меняется. На первый план выступают потери не материальные, а экзистенциальные. Отсюда столь распространенные аналогии из священной и древней истории и оплакивание Москвы.

«Мы, изгнанники московские, как магометане, будем считать годы Эгирию» (Карамзин — Вяземскому) [РА, 230].

«В какое время живем! Все кажется сновидением» (Карамзин — Дмитриеву) [Письма Карамзина, 165 — 166].

«Живем день за днем, не зная, что будет с нами. Я теперь как растение, вырванное из корня: лишен способов заниматься, и едва ли когданибудь смогу возвратиться к своим прежним мирным упражнениям. Не знаю даже и того, как и где буду жить» (Карамзин — Дмитриеву) [Письма Карамзина, 167].

«Здесь тускл зари пылающий венец,
Здесь мрачен день в краю опустошений;
И скорби сын, развалин сих жилец,
Склоня чело, объятый думой Гений
Гласит на них протяжно: нет Москвы!
И хладный прах, и рухнувшие своды,
И древний Кремль, и ропотные воды

Ужасной сей исполнены молвы» [Вяземский, 61 — 62].

Ю. М. Лотман справедливо указал на исключительное значение «Тарутинского периода» Отечественной войны для формирования идеологии людей 14-го декабря [Лотман-63]. Следует отметить, что параллельно Тарутинскому лагерю с его гораздо более спокойным отношением к совершившемуся факту сдачи Москвы (особо популярен был здесь стих Крюковского «Россия не в Москве, среди сынов она» — ср. [Хомутова, 324]; [Шаховской, 33 — 34]) существует нижегородская (и не только) «эмиграция», переживавшая не *отступление*, а *поражение* и во многом определившая взгляды людей, прошедших через нее. Это — не только люди старшего поколения (Карамзин, В. Л. Пушкин и др., чьи воззрения уже успели сформироваться и претерпели мало изменений). Среди «эмигрантов» — практически вся женская часть москов-

ского общества, игравшая исключительно большую роль в жизни старой столицы.

Здесь нам придется затронуть тему типологического сходства «нижегородского» (условно говоря, поскольку те же настроения и обороты речи были свойственны и москвичам в других местах) дискурса с эмигрантским в точном значении слова. В редакторском предисловии, сопровождавшем публикацию писем М. А. Волковой к В. И. Ланской, было указано на такое сходство: «Странное впечатление производят письма Волковой, где на чистейшем французском языке выражается величайшая ненависть к французам; можно подумать, что это — легитимистка, ненавидящая Бонапарта» [ВЕ, 577].

«Большие» политические эмиграции (их не так много в истории Европы), как известно, порождали сходные явления (ряд таких сопоставлений в скрытом виде включает, например, «Мыслитель» М. Алданова). Укажем здесь на две темы, одинаково актуальные для этих дискурсов и для «эмигрантского» дискурса 1812 г. Прежде всего, это — потеря всего, что составляло жизнь, утрата жизненных смыслов. Помимо приведенных высказываний, напомним известное место из письма Батюшкова Вяземскому от 3 октября: «Москвы нет! Потери невозвратимые! Гибель друзей! Святыня, мирные убежища наук, все осужренное толпою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордится именами Генриха и Фенелона! Сколько зла! Когда будет конец? — Ужасно! Ужасно!... К чему прибегнуть? Чем наслаждаться? <...> Вот что меня влечет в армию <...>» [Батюшков, 2, 232].

Заметим, что композиционно этот фрагмент предшествует процитированному выше ироническому описанию нижегородского общества; письмо построено как градация регистров и жанров — от элегии к сатире и затем опять — к философской медитации: «Истинно много, слишком много зла под луною; я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание: человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого Зла: ибо с потерю Москвы можно было бы потерять жизнь; потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду» [Батюшков, 2, 232—233], (ср. также известное письмо Гнедичу: [Батюшков, 2, 233—237], а также стихотворное послание

«К Д<ашков>у», включенное Батюшковым в элегический отдел «Опытов...»).

В связи с этим следует вспомнить о идеологическом кризисе и изменениях стилистики Батюшкова, справедливо связываемых исследователями с 1812 годом. Можно предположить и глобальное влияние описываемого дискурса на формирование канона «унылой элегии» (в недавней книге В. Э. Вацуро рассматривается другой аспект темы — роль 1812 года в формировании «исторической элегии», см. [Вацуро, 134—193]). Такая постановка вопроса представляется актуальной, помимо Батюшкова, прежде всего для Вяземского, для которого «Нет Москвы!» (ср. в процитированном письме Батюшкова) станет тематическим и эмоциональным лейтмотивом вплоть до известного отклика на толстовскую эпопею.

Второй момент, объединяющий «эмигрантские» дискурсы, — парадоксально сочетающееся с ненавистью к «новой власти» (в нашем случае — к завоевателям) ощущение собственной вины в происходящем, зафиксированное в большом количестве эмигрантских текстов (речь не идет о крайне правом спектре эмиграций, хотя и здесь выражались мнения о виновности разложившейся власти). В нашем случае, казалось бы, ни о какой вине речи быть не может. И тем не менее рассуждения о причинах катастрофы часто оборачиваются самоосуждением: «Когда я думаю серьезно о бедствиях, причиненных нам этой несчастной французской нацией, я вижу во всем Божию справедливость. Французам обязаны мы развратом; подражая им, мы приняли их пороки, заблуждения, в скверных книгах их почерпнули мы все дурное. Они отвергли веру в Бога, не признают власти, и мы, рабски подражая им, приняли их ужасные правила, чванясь нашим сходством с ними, а они и себя и всех своих последователей влекут в бездну. Не справедливо ли, что где нашли мы соблазн, там терпим и наказание? Одно пугает меня, — это то, что несчастья не служат нам уроком: несмотря на все, что делает Господь, чтобы обратить нас к себе, мы противимся и пребываем в ожесточении сердечном» [Волкова, 597].

«<...> Провидению благоугодно показалось пожурить нас за нашу приверженность к отчизне и доказать нам, что народ, столько лет нами безрассудно боготворимый, очень, очень далек от просвещения, благонравия, во-

инских доблестей и чистой совести прямого Россиянина» (Сокольский, опубл. в: [Щукин, 1, 1]).

Ничего нового для нас в этих рассуждениях нет — это тот же «обличающий» антигалломанский дискурс, сформировавшийся еще до 1812 г. Интересно, однако, что вопреки всякой логике, галломания объявляется едва ли не причиной разразившихся несчастий⁴. При этом отметим интересную особенность в употреблении личных местоимений, позволяющую, как кажется, различить оттенки в «эмигрантском» дискурсе, отличающие его от антифранцузской риторики, скажем, Ф. Глинки. В «Письмах русского офицера» Ф. Глинка продолжает развивать весьма актуальную в семантической ауре 1812 года тему «варварства» французов: «Кстати, не надо ль в вашу губернию учителей? Намедни один француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища <обратим внимание, как перифраз имплицитирует тему "людоедства" французов, ср. аналогичное оживление метафоры в повести Алданова "Святая Елена, маленький остров" — Р. Л.⁵>, говорил мне: "Возьми меня: я могу быть полезен России — могу воспитывать детей!" Кто знает, может быть, эти выморозки пооправятся, и наши расхватывают их по рукам — в учителя, не дав им даже и очеловечиться...» [Ф. Глинка, 175].

«Каждый <из французов, обнаруженных в печи крестьянской избы — Р. Л.> предлагал свои услуги. Один просился в повара; другой в лекаря; третий — в учителя! Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь.

В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то вместо того, чтоб выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. <...> Покажи кусок хлеба — и целую колонну сманишь! <...> За недостатком русских мужчин, сражающихся за отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков <...>! И как ручаться, что эти же запечные французы, доползя до России, <...> не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам французенок!.. Некогда случилось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтob не сыграли такой шутки и прелестные людоеды с героями русскими!..» [Ф. Глинка, 177]

Отметим разделенность «русского офицера» — повествователя Глинки и обличаемого общества (он употребляет

местоимения 2 или 3 лица). Сходное отношение к «эмигрантам» мы видели у С. Глинки. Напротив, москвичи, пережившие бегство, склонны были обращать упреки к себе самим (если не индивидуально, то корпоративно). Инвективы Глинок представляют собой разные модусы общественной сатиры, рассуждения Волковой находятся в совершенно другой жанровой плоскости.

Еще один важный момент, позволяющий различить, условно говоря, «тарутинский» и «нижегородский» пласты внутри этого периода касается отношения к народу. Для тарутинских идеологов, как и для людей армии вообще характерно отождествление понятий «народ» и «армия». Конечно, «романтический» образ действий партизанских соединений Давыдова, Сеславина и Фигнера выходил за рамки привычной «регулярной» организации армии, но в целом она оставалась неизменной. Такое отношение к народу (как к солдатам, о благе которых печется командир, и которые всецело ему подчинены) впоследствии будет характеризовать мировоззрение многих деятелей тайных обществ⁶. В известном отзыве Грибоедова о «прапорщиках», собирающихся перевернуть Россию, подчеркивается не только молодость заговорщиков (среди них были и люди по понятиям того времени пожилые, и уж конечно было достаточно много штаб-офицеров), но и общий характер замышляемого.

Для людей, переживших бегство, отношение к народу было иным. Здесь можно опять наблюдать интересную параллель с жизненными стратегиями реальных эмигрантов, искавших выходов в ассимиляции. В определенном смысле изгнание московских дворян было для них «эмиграцией в народ». Когда мы говорим о том, что 1812 год способствовал сближению сословий, мы упускаем из виду довольно напряженный характер этого сближения. И опять можно констатировать разницу между панегириками русскому народу, исходившими из лагеря тарутинских идеологов и тем, что писала по этому поводу, например, Волкова: «Чем ближе я знакоюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего, и отдаю ему полную справедливость» [Волкова, 599].

Для С. и Ф. Глинок восхваление народных доблестей во время войны — подтверждение давно установленных теорий. Для Волковой и подобных ей московских аристократов это — удивление открывателя нового континента. В высшей степени характерна в этом смысле сцена из 1-й

книги «Былого и дум», где документальная основа изображаемых событий соединяется с художественным их осмыслением. Мать Герцена, француженка, не говорящая по-русски, остается одна в деревне. Крестьяне приходят сообщить ей о смерти родственника — дяди Герцена, но молодая женщина не понимает их и пугается, принимая их сочувствие за начало бунта и расправы. Герцен, которому суждено было стать самым красноречивым защитником крестьянской общины и самым известным русским эмигрантом своего времени, начинает свою биографию с описания матери, заброшенной в чуждую, кажущуюся враждебной, непонятную, но на самом деле дружелюбную и ней среду русских крестьян. Трудно сомневаться в символическом смысле, вложенном Герценом в эту сцену. С этой точки зрения интересно сопоставить известные расхождения Грибоедова с участниками тайных обществ и его неосуществленный замысел трагедии о 1812 году, начинающейся с изображения бегства дворян из обреченной на сдачу Москвы (герои трагедии осуждают это бегство) и имевшей в плане продолжения изображение участия главного героя трагедии — крепостного крестьянина во «всеобщем ополчении без дворян» (ср. приведенный выше стрывок из «Записок» Глинки и пассаж из «Загородной поездки» Грибоедова о «двух народах» внутри русского народа: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые еще не успели перемешаться обычаями и нравами» [Грибоедов, 395 — 396]).

Разумеется деление людей 1812 года на «тарутинцев» и «нижегородцев» невозможно, как невозможно и полное противопоставление этих двух дискурсов. Реальные траектории личных дворянских биографий не укладываются в 1812 г. в противопоставление «фронта» и «тыла». Среди людей, причастных обеим сторонам дворянской жизни этого года, Вяземский, отправившийся в Бородино «защищать Лубянку» (как сам он заявил одной знакомой московской даме, встретившей его тогда), а затем решивший, что

«После падения Москвы, после не совсем удавшейся попытки отстоять ее на Бородинском поле <Вяземский post-factum смягчает характеристики — Р. Л.>, мне не-

призванному воину, казалось и делать более нечего под воинскими знаменами» [ОА, 232] (сходным образом поступил и С. Глинка).

Грибоедов вступил в армию, но его полк, сформированный в Москве, сразу же, не вступая в боевые действия, был эвакуирован в Казань. Батюшков разделил судьбу «изгнанников» и бежал от мучительных вопросов в действующую армию (ср. его письмо, процитированное выше).

Так или иначе судьбу «эмигрантов» пережили многие московские дворяне. Несомненно, однако, что когда мы говорим об этом явлении, необходимо учитывать возрастную и половую (или точнее, — если не забывать о Н. Дуровой — гендерный) моменты.

Последний момент важен. Салонная московская культура, на которую ориентировался в своей языковой реформе Карамзин, была культурой «женской» [Лотман — Успенский]. Воспоминания Хомутовой сохранили особую атмосферу этого мира с ее культивацией духа парижских салонов дореволюционной эпохи. В обозначившемся окончательно к 1812 г. идеологическом и языковом противостоянии Москва была оплотом «карамзинизма», а Петербург — «архаизма» (мы отдаем себе отчет как в приблизительности терминов, смешивающих литературный, лингвистический и идеологический аспекты, так и в суммарности картины, в которую с трудом вписывается, например, деятельность того же С. Глинки). Соединение «нового слога» и патриотической тематики, делавшее возможным новую формулировку национальной идеи и имплицитовавшее многие последующие перипетии и трансформации этой идеи, получило в 1812 г. мощный импульс. «Изгнание в народ», сопровождавшееся драматическими обстоятельствами, поставило перед московскими дворянами вопрос о национальной самоидентификации. Ответ на этот вопрос предстояло формулировать не на старомосковском «фамусовском» и не на петербургском «официальном» языках, но на языке московского салонного общества, на языке французском и «женском».

Темы 1812 года, патриотизма, женской культуры, русско-французского двуязычия в сочетании с мотивом эмиграции находятся в центре пушкинского прозаического отрывка, известного под заглавием «Рославлев».

Как известно, Пушкин опубликовал «Отрывок из неизданных записок дамы (1811)» анонимно и с пометой «с французского» (в оглавлении) в III томе «Современника» на 1836 г. Текст носит откровенно полемический характер по отношению к роману Загоскина «Рославлев». Пушкин мастерски играет с текстом Загоскина, не опровергая излагаемые в «Рославлеве» «факты», — общий ход сюжета Загоскина подтверждаются пушкинской рассказчицей; многие важные фабульные детали — как, например, обстоятельства знакомства Полины с Сеникуром в Париже и характеристики героев (Владимир Рославлев у Загоскина и брат повествовательницы Алексей у Пушкина, родители Полины, отчасти Сеникур) — не подтверждаются. Мистификация Пушкина переключает статус романа Загоскина из фикционного в исторический (на что отчасти претендовал и сам автор «Рославлева»), пушкинский же отрывок, будучи метафикцией, претендует на статус подлинной истории.

Повествовательница «Отрывка...» иронизирует над сообщаемыми Загоскиным проявлениями патриотизма и, не отрицая «антипатриотического» поведения Полины (Пушкин сохраняет имя героини «Рославлева»), объясняет их отвращением героини к этой массовой в 1812 г. ненависти к недавно боготворимым французам, мотивируя тем самым обвинения героини в антипатриотизме, отразившиеся, по мысли пушкинской повествовательницы, и в загоскинском романе.

Смысл литературной полемики, которая здесь не менее значима, чем идеологическая, в утверждении психологической исторической прозы в противоположность морализаторско-идеологическому роману Загоскина, соединяющего черты «нравственно-сатирической» низовой литературы и романтического «вальтер-скоттовского» романа.

Неоконченность пушкинского текста, конечно, мнимая. В духе своих излюбленных «открытых» финалов, провоцировавших исследователей на архивные поиски и на реконструкции окончаний, Пушкин намечает главные противопоставления своего текста и загоскинского «оригинала» (если следовать логике пушкинской мистификации, оригиналом, как раз, являются «Записки одной дамы»). Помимо жанровых противопоставлений «фикции» и «документа», «психологической» и «апсихологической» прозы, укажем на ряд других линий полемики.

«Мужской» прозе Загоскина Пушкин противопоставляет «женскую» прозу «одной дамы». Пушкинский «Отрывок...» не может называться «Рославлевым» уже потому, что не Рославлев (вернее — не брат повествовательницы, с которым обручена пушкинская Полина) является его главным героем. Название, данное публикаторами на основании пушкинской карандашной надписи на полях рукописи, противоречит логике пушкинского текста (заметим, что и в других случаях Пушкин не склонен был, «вышивая по старой канве», сохранять заглавия чужих текстов).

Русской прозе противопоставляется «перевод с французского». Здесь необходимо отметить отступление повествовательницы о женском чтении и французском языке, достаточно прозрачно раскрывающее мистификацию не только для пушкинистов, держащих в памяти все соответствующие параллельные места, но и для любого читателя «Онегина» [Пушкин, 6, 201].

Итак, «мужскому» русскому роману о Рославлеве Пушкин противопоставляет женские французские записки о Полине⁷ (все определения, разумеется, — в кавычках). Пушкин узнает на периферии загоскинского романа сюжет «пленника», им самим введенный в русскую литературу и возвращается к собственному сюжету в новом жанре (косвенным подтверждением такого предположения может служить целый ряд обращений Пушкина к этому сюжету в 30-е гг.). Читатель вправе предположить, что Полина, несмотря на свой пылкий патриотизм, смогла оставить отечество и последовать за Сеникуром (этого нет в тексте Пушкина, но, напомним, Пушкин не опровергает фабулу Загоскина, дается иное толкование смысла «истинного» происшествия). Пушкин предлагает более тонкий, по сравнению с загоскинским, анализ культурной ситуации эпохи. Там, где Загоскин видит черное и белое, «галломанов» и «патриотов», Пушкин различает оттенки. Примечательно, с какой точностью Пушкин воспроизводит описанный выше сатирический образ «русского французского эмигранта»: «Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас <...> Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществе решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался

от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни» [Пушкин, 6, 205—206].

Но пушкинский отрывок, как нам представляется, отражает и иную трактовку темы.

Черновик пушкинского фрагмента написан в 1831 г., сразу после выхода загоскинского «Рославлева». Возвратившись к тексту в 1836, Пушкин не опубликовал всего написанного ранее. В опубликованном фрагменте Пушкин минимализирует, по сравнению со всем написанным текстом, полемику с Загоскиным (мы не касаемся сейчас таких важных вопросов, как связь отрывка с историческим и политическим контекстами 1831 и 1836 гг. и журнальный контекст публикации, внутри которого «Отрывок...» оказывался соположенным с фрагментами записок Н. Дуровой, напечатанных во II томе «Современника»). В варианте «Современника» нет ни описания московского довоенного общества, ни упомянутой нами мотивировки «антипатриотического» поведения Полины в начале войны, ни контрастных по отношению к загоскинским характеристикам жениха Полины (герой-патриот Рославлев у Загоскина и светский повеса у Пушкина) и Сеникура. Прямая полемика с Загоскиным сведена к упомянутой реплике «дамы» по поводу французского языка и французских романов.

В связи с этим особое значение приобретает эпизод, который завершает опубликованную часть пушкинского фрагмента. Он посвящен описанию визита в Москву *M-me de Staël*, встречи знаменитой изгнанницы с Полиной и современного (отнесенного к 30-м гг.) разговора об этих событиях: «До чего доходит охота к злословию! Недавно рассказывала я все это в одном очень порядочном обществе. «Может быть» — заметили мне — *M-me de Staël* была не что иное как шпион Наполеонов, а княжна *** <Полина — Р. Л.> доставляла ей нужные сведения» — Помилуйте, — сказала я, — *M-me de Staël*, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая *M-me de Staël*, наслушавшись убежавшая под покровительство Русского Императора, *M-me de Staël*, друг Шатобриана и Байрона, *M-me de Staël* будет шпионом у Наполеона!... «Очень, очень может статься», — возразила востроносая графиня Б. —

«Наполеон был такая бестия, а M-me de Staël претонкая штука!» [Пушкин, 6, 204–205].

Эмигрантка де Сталь, в которой обвинительницы Полины готовы, вопреки всякой исторической достоверности, увидеть наполеоновскую шпионку (еще один выпад против антиисторического романа Загоскина), чтобы таким образом объяснить ее внимание к Полине, сближается с русской героиней, которой, как может предположить читатель, предстоит пережить бегство из Москвы в деревню и последовать за границу за любимым человеком (первый момент, предполагающийся в «Отрывке...» и действительно имеющийся в неопубликованной части⁸, контрастен по отношению к сюжету Загоскина, его Полина, напротив, приезжает в занятую Наполеоном Москву с мужем — французским офицером). Это сближение имеет еще один, очень важный оттенок значения. Довоенный московский свет, как мы помним, весьма пронизательно спроецирован Пушкиным на французскую придворную культуру времен Людовика XV⁹. Родоначальница романтического движения во Франции де Сталь (обратим внимание на упоминание имен Шатобриана и Байрона) неслучайно сталкивается с носительницей «ампирного» патриотизма Полиной. Герои Загоскина недостоверны именно с этой — историко-культурной — точки зрения. Его Полина — героиня позднеромантической прозы. Пушкин наделяет героиню специфической риторикой начала XIX в. Н. Н. Петрунина замечает, что Маша Миронова и Полина соотносятся между собою, «как ода и лирическая поэзия» [Петрунина, 278]. Оставляя в стороне факт бесспорной принадлежности оды к лирическому роду, заметим, что «жанр» Полины — не ода, а скорее предромантическая трагедия¹⁰ (напомним здесь хорошо памятное Пушкину стремление Вяземского объявить Озерова романтическим драматургом)¹¹. Непонимание московским обществом (и — в подтексте — Загоскиным) Полины и де Сталь — это непонимание разных культур (в 1812 г. свет не понимает нового, в 1830-х он уже не помнит старого). Пушкин фиксирует близость «эмигрантского» и «патриотического» дискурсов внутри дискурса 1812 года, специфическую «женскость», связывающую два этих языка и их предромантический характер¹².

4. Наполеон и Самозванец
(предварительные заметки к теме)

В статье «Историзм Пушкина» Б. В. Томашевский обратил внимание на эпизод в «Борисе Годунове» (далее — БГ), не имеющий параллелей в «Истории...» Карамзина, и прокомментировал его: «<...> В тексте трагедии можно найти следы <...> исторических аналогий. В сцене «Царская дума» Басманов произносит следующие слова:

Государь,

Трех месяцев отныне не пройдет,
И замолчит и слух о самозванце;
Его в Москву мы привезем как зверя
Заморского в железной клетке. Богом
Тебе клянусь.

В исторических документах мы не находим этих слов о железной клетке. И, однако, это типическое слово имеет историческое происхождение. <...> Маршал Ней, поставленный Людовиком XVIII во главе войск против Наполеона, <...> перешел на его сторону. <...> Перед отъездом <...> Ней имел свидание с королем, которое обвинитель на его процессе формулировал так: "7 марта, поцеловав руку короля и поклявшись ему в минуту притворного возмущения, без какого-либо намека со стороны короля, не наводившего его ни на самую мысль, ни на примененное им выражение, — поклявшись привезти ему Бонапарта в железной клетке (*dans une cage de fer*), он отправился из Парижа и 14 числа того же месяца, через 7 дней, читал своим войскам мятежный манифест и провозглашал Бонапарта императором"» [Томашевский, 153]; ср. также: [Эткинд].

Такая параллель представляется легко объяснимой в перспективе интереса Пушкина к историческим аналогиям и феномену самозванчества вообще (к теме Наполеон — Самозванец см. также [Реизов]); укажем также на пушкинскую параллель Наполеон — Борис (в связи с убийством герцога Энгиенского)¹³.

Пушкинская трагедия была первым значительным произведением, в котором соединение разбойничье-самозванческой и наполеоновской тем вышло на поверхность культуры. Этому сцеплению мотивов суждена была долгая жизнь. Как показал Ю. М. Лотман, оно восходит к архетипическим представлениям об оборотничестве и в прозе романтического и постромантического периода

является частной манифестацией более широкого мотива «джентльмена-разбойника» [Лотман-79]. Если в гоголевской «Повести о капитане Копейкине» (и в «Мертвых душах» в целом) этот мотив выступает в скрытом виде, то например, у Лермонтова он развернут. Мы имеем в виду не столько «Вадима» (там «разбойник» не спроецирован прямо на Бонапарта, но должен соотноситься со всем рядом героев байронического и «неистового» романтизма), но, в первую очередь, ст. «Предсказание», написанное в 1830 г. (заметим, что 1830-31 гг. — время активизации воспоминаний о 1812 годе, ср. выше о пушкинском отрывке). Лермонтов предсказывает наступление «черного года»,

Когда детей, когда невинных жен
 Низвергнутый не защитит закон;
 Когда чума от смрадных, мертвых тел
 Начнет бродить среди печальных сел,¹⁴
 Чтобы платком из хижин вызывать,
 И станет глад сей бедный край терзать;
 И зарево окрасит волны рек:
 В тот день явится мощный человек,
 И ты его узнаешь и поймешь,
 Зачем в руке его булатный нож;
 И горе для тебя! — твой плач, твой стон
 Ему тогда покажется смешон;
 И будет все ужасно, мрачно в нем,

Как плащ его с возвышенным челом [Лермонтов, 140].

Последние два стиха, представляющие собой характерную для раннего Лермонтова семантико-синтаксическую невнятицу («мрачный плащ с возвышенным челом»), отсылают к написанному ранее ст. «Наполеон» с рефренными повторами «челом»/«(две руки, сложенные) крестом», в свою очередь, проецирующими лермонтовский текст (точнее — конгломерат текстов) на известное место в описании кабинета Онегина (гл. 7, XIX):

<...> столбик с куклою чугунной
 Под шляпой с пасмурным челом,
 С руками, сжатыми крестом.

Соединение «булатного ножа» и «плаща с возвышенным челом» (вообще говоря, характеризующее «фольклорные» поиски раннего Лермонтова) — это уже не аналогия, как в БГ. Перед нами «русский Бонапарт» («как он ... но только с русскою душой»), слившийся с лирическим героем и закономерно (в указанной смысловой

перспективе) превратившийся в разбойника. Нет необходимости здесь проследивать развитие этой линии в русской литературе — от самозванческой темы у Достоевского («Иван-царевич» и Федька) через контаминацию с русским ницшеанством и вплоть до мнимого «сына лейтенанта Шмидта», носящего следы своего бонапартизма в виде татуировки с портретом Наполеона на груди (иронический рефлекс мотива «царских знаков»).

Заметим, что «самозванческая» ипостась Наполеона отразилась весьма своеобразно и в «Войне и мире»: Наполеон здесь метафорически никак не соотнесен с Самозванцем-Отрепьевым, но зато представляет собой самозванца метонимического — часть, деталь, претендующую (с точки зрения Толстого — безосновательно) на значение целого (в то время, как и сама возможность постижения значения целого — Истории, — по Толстому, проблематична). Возведение этой метонимии в степень — фраза Наполеона “*La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi*”. Толстой со своим всегдашним недоверием к любым «профессиональным» видам симптоматических знаний (не исключая, однако, пристальное внимание самого автора к «симптоматике») доводит метонимию до абсурда.

Такой взгляд на наполеоновские подтексты в БГ, однако, позволяет увидеть в пушкинской трагедии не только аналогии с Бонапартом периода 100 дней (помимо приведенного места, Томашевский рассматривает под этим углом зрения реплику Пушкина в сцене «Ставка»:

Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала [Пушкин, 5, 316].

Это место, действительно напоминает о продвижении Наполеона с острова Эльба к Парижу).

Однако мы можем усмотреть в БГ соотнесенность не только с Наполеоном во Франции, но и с Наполеоном в России. Когда тот же герой БГ несколько ранее говорит (сцена «Москва. Дом Шуйского»):

А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха, — [Пушкин, 5, 258].

трудно отделаться от ассоциаций, также связанных с Наполеоном, но в совершенно другой ситуации. Как известно, в 1812 г. сильны были страхи, что Наполеон попытается спровоцировать в России народное восстание, объявив крестьян свободными (позже Наполеон ставил себе в заслугу, что не сделал этого¹⁵).

Однако дело даже не в конкретных высказываниях героев, но в целом соотношении событий «Смутного времени» и 1812 года, которое пронизывало тексты самых разных жанров и в 1825 г. ощущалось еще очень остро. Когда в БГ пытаются (часто справедливо) разглядеть исторические аллюзии и параллели (с царствованием Александра или со «100 днями» Наполеона), на эту параллель закрывают глаза именно в силу того, что она не является параллелью в смысле классических «применений», очевидных зрителям и читателям драм предшествующей эпохи (например, «Дмитрия Донского» Озерова).

Таким образом, требуется рассмотреть «наполеоновские» подтексты БГ не только в перспективе будущего развития наполеоновского мифа, но и с точки зрения вписанности трагедии в дискурс 1812 года. Здесь мы найдем не только многочисленные сближения ситуаций 1605–1612 и 1805–1812 (см. выше у Н. Дурново и С. Глинки), но и продиктованное ими сближение центральных фигур:

Чудо дивное, небывалое,
 Во святой Руси совершилося;
 После двух веков славы, щастия,
 Страна Русская сокрушилася
 Так как в старь была, в время слезное,
 Во нашествие злых Литовских сил.

...

Сокрушил ее не *Сармат* лихой,
 Не *Отрепьев* злой, самозванной царь;
 Погубил ее враг неистовый,
Корсиканец злой, ада выродок.

(А... Н... «Русская песня во время занятия Москвы неприятелями, посвященная любезным соотечественникам») [Собрание... 1, 155];

Самозванец злой, нечестивый враг,
 Бич невинности, враг спокойствия <... >
 Развратил сердца, соблазнил умы
 Многочисленных европейских стран.

(Д... Н... «Песнь соотечественникам по прогнании злодеев из земли Русской») [Собрание... , 1, 156].

Сближение Наполеона с Лжедмитрием могло находить поддержку в реальном самозванчестве Наполеона¹⁶. Характерно, однако, что этот мотив актуализировался не в связи с созданием французской империи, а в обстановке похода на Москву. Герои оказались уподобленными не на том основании, которое предполагалось бы в аналогическом суждении. Аналогия превратилась в метафору. Сопоставление корсиканского выскочки, ставшего императором французов, и беглого монаха, севшего на московский престол, — пример аналогии. Парадоксальное сближение разоряющего Москву французского самозванца с самозванцем русским, за 200 лет до того вторгшемся в Москву и приведшим туда поляков, — метафора. Здесь в создании образа "Наполеона-Отрепьева" играют роль и самозванчество Бонапарта (семантическая общность), и сходство контекстов, в которых выступают герои. Эти два механизма сближения находятся в конфликте (игнорируется важнейшая культурная оппозиция «своего» и «чужого»). В результате Бонапарт предстает не просто одним из самозванцев в мировой истории, но очередным русским самозванцем, а нашествие — едва ли не повторением столь еще памятной всем пугачевщины.

В приведенных цитатах обращает на себя внимание их контекст — имитация народного стиха, ориентированная на изображения фольклорного сознания и/или на соответствующую аудиторию. Это, думается, связано с другим важным аспектом дискурса 1812 года. Нашествие «двунадесяти языков» могло восприниматься не только как нашествие Антихристового воинства (в этом направлении работали, как известно, и публицистика, и патриотическая лирика, и церковное красноречие — см. [Гаспаров, 83 – 118]). Но, как обычно, Антихрист трудноотличим от Спасителя. Наполеоновское нашествие могло интерферировать и с народноутопическими легендами о «добром царе».

«Александр доносили, что не только среди крестьян идут слухи о свободе, что уже и среди солдат поговаривают, будто Александр сам тайно просил Наполеона войти в Россию и освободить крестьян <... > А в Петербурге уже поговаривали (и за это был даже отдан под суд некий Шебалкин), что Наполеон — сын Екатерины II и идет от-

нять у Александра свою законную всероссийскую корону, после чего и освободит крестьян¹⁷» [Тарле, 273].

Таким образом, в народной культуре, самозванчество Наполеона никак уже не соотносилось с его коронацией. С этой точки зрения отождествление с Отрепьевым-Лжедмитрием, конечно, призвано было противостоять этим тенденциям. Насколько они были значимыми в обстановке 1812 г., можно судить по тому, что сам Наполеон проявлял интерес к Пугачеву и даже затребовал в московских архивах пугачевские материалы.

Следует учитывать, что трансформации исторического дискурса в 1812 г. в значительной степени были вызваны активным взаимодействием различных культурных кодов. Мы видим, как тема «Наполеон-Отрепьев» проникает в «высокую» литературу через имитацию фольклора.

Мы нисколько не претендуем на исчерпывающее описание здесь образа Наполеона в дискурсе 1812 года — это потребовало бы не только учета огромного количества не попавших в поле нашего зрения источников (русских и иностранных) и расширения хронологического горизонта (как известно, «наполеоновский миф» уже сложился и был отрефлектирован в России к 1812 г.). Однако нам представляется, что указанная черта «наполеоновского мифа», составляя, как можно предположить, специфически русский его извод, способна объяснить некоторые важные моменты в дальнейшем развитии представлений о герое истории.

Здесь следует вернуться к БГ. Уже первые его критики (Надеждин) указывали на бицентричность пьесы. Действительно, Самозванец не в меньшей степени, чем Борис, является ее главным героем. Как мы знаем, Пушкин ставил себе целью написать первую в России романтическую драму (трагедиям Озерова он в таком определении отказывал). В центре внимания Пушкина, помимо проблем языковых и жанровых (построение романтического действия), была и проблема героя. Обращение к теме 1812 года диктовало погружение в семантическую ауру 1812, хорошо памятную и известную Пушкину — это не менее важно для понимания БГ, чем указание на конкретные параллели. «Странное сближенье» Самозванца и Наполеона — лишь одна из манифестаций смысловых сдвигов, порожденных 1812 годом. Нам представляется, что само понимание Пушкиным проблемы исторического героя

ближайшим образом связано с семантическими механизмами этого взрыва, на которые мы попытались указать выше. Неудивительно, что на первый план выдвигается Самозванец — эта фигура как нельзя лучше демонстрирует тропологичность (оборотничество, если позволить себе кальку) героя истории, понимаемого в этой смысловой перспективе. В знаменитом сопоставлении Шекспира и Мольера (в "Table Talk") Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков <...> У Мольера Скупой скуп и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер вложится за женою своего благодетеля — лицемера; спрашивает стакан воды — лицемера. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными увлекательными софизмами <...> Анджело лицемер, потому, что его гласные действия противуречат тайным страстям!» [Пушкин, 8, 90—91].

«Шекспиризм» БГ хорошо известен и не раз был предметом исследования. Интереснее другое — тот же принцип лежит в основе взглядов Пушкина на героев истории. Александр предстает «двуязычным» Арлекином *commedia dell'arte* («К бюсту завоевателя»). Противоположным образом изображены исторические герои другого типа — Наполеон (ст. «Герой»), Петр или Самозванец. Их противоречия — не ложь, а многообразие ликов, каждый из которых — истинен. Квинтэссенция такого взгляда на героя — сцена «Ночь. Сад. Фонтан» в БГ, где Самозванец становится «сыном Иоанна», признаваясь Марине в обмане. Во всех героях этого типа представлена не просто борьба противоположных начал или чувств, но одновременное присутствие разных, кажущихся несовместимыми и лежащих в разных сферах, качеств. Как замечает по поводу Самозванца К. Эмерсон: "Pushkin's Pretender succeeds because he makes history, or rather, he *makes it up*, he listens, absorbs, literally becomes the many personalities that others need to see in him. He assumes a different identity with almost every scene: he is a novice in the monastery, a townsman in the Tavern Scene, a Polish nobleman while courting Marina, a troop commander

on the Russian border, a little boy mourning his horse after his first defeat" [Emerson, 100].

Очевидна связь этих воззрений с поздними взглядами Пушкина на историю, равно как и с его представлениями о природе поэтического творчества и с пресловутым пушкинским «протеизмом»¹⁸.

Для нашей темы значимо, что эти принципы отношения к герою вырабатываются в ауре 1812 года, наполненной примерами совмещения значений именно такого рода. Сквозь образ карамзинского Отрепьева просвечивает не просто «всадник, Папою венчаный»¹⁹, но уже подвергшийся сложным трансформациям образ Наполеона, инкорпорировавший в себя черты русского самозванца.

5.

Мы рассмотрели два эпизода, касающихся семантических преобразований, которые претерпел язык исторических (само)описаний в 1812 г. И материал, и метод, и цели предложенных нами заметок значительно отличались друг от друга. Общим было стремление объяснить последующие явления русской культуры с помощью обращения к языку, вырабатывавшемуся в обстановке Отечественной войны.

Как нам представляется, оба семантических сдвига, описанных нами в этих заметках, могут быть интерпретированы в рамках рабочей гипотезы о метафоричности дискурса 1812 года²⁰. Этим определением мы не стремимся исчерпать всей сложности объекта; заметим, однако, что многие другие культурные явления этого периода — в том числе столь значимое, как интенсивный диалог между разными пластами культуры, приводивший к появлению новых неожиданных сочетаний «старых», устоявшихся внутри своих субкультурных пластов, семантических единиц, — также соответствуют этой гипотезе.

Сходство семантических механизмов в двух рассмотренных случаях состоит в игнорировании столь существенного для культуры противопоставления, как оппозиция «своего» и «чужого». И описание «своего» бегства как «чужой» эмиграции, и изображение «чужого» узурпатора как «своего» самозванца — расшатывают «спокойный» семантический механизм пропорционального параллелизма. Неудивительно, что такие мутации были возможны в обстановке 1812 г. Нам хотелось, в первую очередь,

обратить внимание на последующее закрепление некоторых из этих семантических мутаций. Творчество Пушкина неслучайно оказалось при этом в центре нашего внимания. Б. М. Гаспаров справедливо указывает на значение апокалиптической риторики 1812 года, опосредованной иронической словесной игрой «Арзамаса», для понимания пушкинских текстов, в том числе и хронологически, и тематически удаленных от событий 1812 г. и от арзамасских битв с «беседчиками». Известно неизменное и напряженное внимание Пушкина к проблемам истории и исторического героя. Эти проблемы в начале XIX в. не только требовали обращения к предшествующей историографической традиции и к новейшим европейским поискам, но и неизбежно обращали к плодотворным семантическим парадоксам языка людей 1812 года.

Чем были вызваны семантические мутации, о которых шла речь выше? Нам кажутся неплодотворными односторонние попытки объяснить их «внешними» причинами (историческая реальность «травматизирует» дискурс) или, напротив, «внутренними» тенденциями культуры («романтическая» эпоха вырабатывает романтический язык описания). Конечно, при всей противоречивости термина «романтизм», очевидна типологическая близость этого большого стиля и описанных нами механизмов. Примечательно, что в зависимости от взгляда, мы можем рассматривать романтическую культуру и как причину, и как следствие этих механизмов. Если говорить о русской литературе XIX в., равноочевидны и влияние (пред)романтических тенденций в эпоху наполеоновских войн (и несколько ранее), и бурный рост романтической литературы именно в послевоенный период (о связи с дискурсом 12-го года таких романтических жанров, как «унылая элегия» и историческая драма, шла речь выше, можно было бы также рассмотреть взаимодействия с романтической эпикой — балладой и ранними поэмами).

Как любил повторять Ю. М. Лотман, любая война представляет собой диалог, в котором стороны обмениваются не только пушечными ядрами и ружейными выстрелами, но и смыслами. Учитывая диглоссный характер русской дворянской культуры и общую сложность культурно-языковой ситуации в России, вызванной ее развитием в XVIII в., следует отметить, напряженный и парадоксальный характер этого диалога. Так или иначе русский дискурс в этом диалоге и продолжал тен-

денции собственной культуры, и реагировал на реплики «собеседника». Когда Милорадовича называют «русским Мюратом» [Ф. Глинка, 58] или когда русские публицисты полемически развивают «варварскую» тему, конкретные высказывания или фигуры речи не могут быть успешно осмыслены вне этого диалога. Диалог, в который вступила культура в 1812 г., осложнился тем, что он имел для русских и очень напряженный внутренний аспект. И «мы» (русские) и «они» (французы/Европа) не были в нем представлены как монолитные участники. Это сказалось и на представлении о главных действующих фигурах — Наполеоне и Александре/Кутузове. Более того, можно сказать, что диалог сопровождался активным конструированием этого «мы», образа коллективного первого лица. Этот процесс, как мы пытались показать, требует более пристального изучения и не может быть исчерпан повторением (бесспорно, справедливых) формул о «росте национального самосознания» или «патриотическом подъеме» в 1812 г.

Сходным образом, старая схема «1812 год породил 14 декабря 1825 года» недостаточна не только потому, что игнорирует иные источники идеологии заговорщиков. Значения антинаполеоновских войн — и прежде всего Отечественной войны — для развития русского литературного, исторического, идеологического и политического дискурсов (вряд ли их можно рассматривать изолированно на протяжении всего XIX в.) гораздо разнообразнее и обширнее, чем формирование идеологии тайных обществ.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Риторика 1812 года исследована недостаточно: нет обобщающих работ по манифестам Шишкова, наследию Ростопчина, «Сыну Отечества» и «Русскому Вестнику», массовой патриотической лирике. Значительными явлениями в этой области представляются нам работы Ю. М. Лотмана [Лотман-58], [Лотман-63], [Лотман-94], монография А. Г. Тартаковского, посвященная мемуарной традиции [Тартаковский-80] и недавняя книга Б. М. Гаспарова [Гаспаров], рассматривающего в качестве одного из источников мотивов и стилистики Пушкина публицистику и поэзию 1812 г. как единый смысловой континуум с доминирующим апокалиптическим сюжетом.
- 2 Ошибка мемуаристики, обусловленная временной дистанцией. И. И. Полиньяк, будущий член Южного общества, командо-

- вал Апшеронским полком позже — в кампанию 1814 г. В 1812 он был командиром 1-й гренадерской роты лейб-гвардии Литовского полка.
- 3 Отметим здесь смену стилистических регистров в двух фразах, разделенных восклицанием.
 - 4 Это позволяет отличать рассуждения подобного рода от традиционных суждений о наказании за грехи, напр.: «Гнев божий на всех нас, за грехи наши» (Из дневника 1812-го г. Д. М. Волконского [1812 год. . . , 146]).
 - 5 Ср.: [Тарле, 375 — 376].
 - 6 К сложившимся еще в период издания «Русского Вестника» представлениям С. Глинки о государстве как семье, в которой «дети» (крестьяне/солдаты) подчинены «отцам», в свою очередь являющимся «слугами» Отечества см.: [Киселева].
 - 7 У Загоскина в «Рославле» значима градация персонажей в их отношении к французам: от «страшного» романтического ненавистника французов «артиллерийского офицера» (чьим прототипом послужил Фигнер) до купца-предателя, изображенного с ориентацией на официальную ростовчинскую версию верещагинского дела. Градация не представляет большого разнообразия — «гуманный патриотизм» Рославлева явно вызывает наибольшие авторские симпатии. Характерно, что пособниками врага у Загоскина могут быть только представители недворянских сословий (ямщик-крестьянин — от невежества, молодой купец — от «образованности»). В дворянском сословии именно женщины (Радугина, мать Полины, сама Полина) в наибольшей степени подвержены французскому влиянию. Ср. «мизогинные» оттенки в приведенном выше фрагменте Ф. Глинки.
 - 8 Значимо, что именно отъездом семьи Полины из Москвы завершила Пушкин перебеленную часть своего фрагмента.
 - 9 Не можем отказать себе в удовольствии процитировать еще один фрагмент из воспоминаний А. Г. Хомутовой. Следует еще раз напомнить — написанные много лет спустя, эти воспоминания ориентированны на изображение бесповоротно ушедшего мира «Москвы Тверского бульвара» — отсюда суммарность описаний и ряд анахронизмов, но это же приводит к созданию удивительно ярких сцен со сгущенным временным колоритом (это, между прочим, также напоминает описания «старой России» внутри русского эмигрантского дискурса XX в.): «<12. 08. 1812 — Р. Л.> на бульваре господствовало уныние, и Бахметев увлек нас к себе в дом, где предавались только любви, курению и забавам. Граф Салтыков и князь Гагарин в сюртуках, без галстуков, лежали на диванах, держа в руках длинные трубки, которые закуривали им дочери и племянницы хозяина, а те целовали их в лоб в знак благодарности. В отдаленном уголке госпожа Николева

пересеменовала то с Обрезковым, то с графом Санти; это подало повод Томасу сказать, что она измеряет широту и долготу. Хорошенькие горничные в зеленых передниках разносили чай и подавали ужин. Бахметев пересыпал разговор двусмысленностями, а Евреинов и Нарышкин распевали:

Si l'on mettai è l'eau fraîche

Toutte filette qui pêche,

L'eau fraîche serait enfin

Plus chere que le vin!» [Хомутова, 315 – 316].

- 10 Патетическая риторика Полины у Пушкина, если продолжить сопоставление с загоскинским «Рославлевым», — это скорее риторика антагонистов Полины у Загоскина: Рославлева, кн. Радугина, явно спроецированного на фигуру Шишкова, и других в изобилии имеющихся там резонеров. Несомненно, такой парадоксальный поворот сюжета у Пушкина полемичен по отношению ко всей концепции «Рославлева», согласно которой «<...> всякая частная любовь должна умолкнуть перед <...> общей и святой любовью к отечеству» [Загоскин, 133–134]. В то же время, Загоскин модернизирует дискурс своих патриотов в духе риторики николаевского времени, а Пушкин стремится к исторической достоверности. Пушкин парадоксально соединяет ампиричную риторику героини в духе Ф. Глинки с сюжетом, прямо полемическим по отношению к процитированному месту из «Писем русского офицера».
- 11 Такой взгляд, несомненно, расходился с пушкинским пониманием романтизма в 20-е гг. Это, однако, не должно опровергать предположения о предромантической перспективе, в которой Пушкин рассматривал культурные явления начала XIX в. Об ориентации бытового поведения людей начала XIX в. на театр см.: [Лотман-73].
- 12 Несомненно, значимым при этом является и то, что де Сталь — эмигрантка наполеоновского времени, а не первых волн послереволюционной эмиграции. Это позволяет увидеть в пушкинском отрывке рефлексы описанной нами двойственности по отношению к «эмигрантской» теме. «Век Людовика XV» противопоставлен новой эпохе. Ср. противопоставление двух поколений французских эмигрантов — «старых грешников с поношенными ленточками» ордена св. Людовика и молодых рыцарственных «школьников несчастья» — в мемуарах Вигеля [Вигель, 33].
- 13 См. [Муравьева, 18–19]. К теме «Наполеон – Борис» см. также замечания К. Эмерсон [Emerson, 15; 18; 235].
- 14 Эта часть «предсказания» соотносится с эпидемией холеры 1830 г. Лермонтовское пророчество, таким образом, весьма злободневно.

- 15 Именно так Наполеон поступал в других странах, например, в 1805 г. в отторгнутой от Пруссии части Польши.
- 16 С точки зрения русского словоупотребления Наполеон был не «самозванцем», а «узурпатором» (не «Лжедмитрием», а «Борисом») — он нисколько не претендовал на генеалогические права на престол; напротив — неоднократно подчеркивал это свое отличие от государей старой Европы.
- 17 Интересно, что в этих толках Наполеон выступает в роли Павла, к смерти которого был причастен Александр, — это «предсказывает» коллизию «БГ» (с инверсией «детоубийство»/«отцеубийство»).
- 18 Ср. «Заключение» в монографии Б. М. Гаспарова и особенно процитированные им в примечаниях суждения В. В. Виноградова: [Гаспаров, 320 — 321; 359].
- 19 К теме «Самозванец-всадник» ср. реплики Самозванца («Мой бедный конь...») в сцене «Лес». Здесь мы решительно не согласны с трактовкой этой ипостаси героя, предложенной К. Эмерсон. Учитывая пушкинские коннотации слов «всадник» и «конь» (последнее — одно из десяти самых частотных существительных у Пушкина), эту сцену следует толковать, представляется нам, как речь «не мальчика» (как вслед за Пушкиным — персонажем драмы делает исследовательница), «но мужа» — воина, причастного европейской рыцарской культуре. В связи с приведенной цитатой из X главы «Онегина» заметим, что здесь Пушкин сознательно игнорирует самозванческие коннотации знаменитого символического жеста Наполеона — во время коронации в Нотр-Дам 2 декабря 1804 г. Наполеон вырвал корону из рук папы Пия VII и самостоятельно возложил ее на себя.
- 20 Говоря о метафоре, мы основываемся на достаточно широком понимании природы тропов, предложенном в работе Ю. М. Лотмана «Риторика»: «Эффект тропа образуется не наличием общей "семь" <...>, а вкрапленностью их в несовместимые семантические пространства и степенью семантической удаленности несовпадающих "сем" Семантическая удаленность может образовываться за счет разных аспектов непереводаемости замещаемого замещающим. Это могут быть отношения одно-/многомерности, дискретности/непрерывности, материальности/нематериальности, земного/потустороннего и проч. И на уровне референта, и при сопоставлении соответствующих семантических пространств границы заменяемого и замещающего настолько несопоставимы, что задача установления соответствия приобретает иррациональный характер» [Лотман-1981, 15].

Можно возразить, что при таком понимании размывается граница между метафорой и метонимией (Лотман сам ука-

зывает на это, ссылаясь на Grimaud). Выше мы попытались продемонстрировать метафоричность исторических текстов 1812 года на примерах, пока же заметим, что для нас отправной точкой было противопоставление метафорического дискурса не метонимическому (как в классических работах Р. О. Якобсона), а параллелистическому. Пропорциональный параллелизм — фигура традиционно широко используемая в рассуждениях об истории и связанная с пропорциональной аналогией. Пропорциональные конструкции могут организовывать разные уровни высказывания об истории — от фразового до текстового (Плутарх). Функция таких конструкций в историческом дискурсе очевидна — обнаружение общего в удаленных друг от друга ситуациях; если одна из ситуаций принадлежит настоящему времени, параллелистическая конструкция может претендовать на прогностическую силу.

ЛИТЕРАТУРА

- БАТЮШКОВ: *Батюшков К. Н. Сочинения*: В 2 т. М., 1989.
- ВАЦУРО: *Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры*. СПб, 1994.
- ВЕ: *Волкова* (предисловие редакции)
- ВИГЕЛЬ: *Записки Ф. Ф. Вигеля*. Ч. 2. М., 1892.
- ВОЛКОВА: *Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской / Пер. с фр. и предисловие М. Свистуновой // Вестник Европы. 1874. Кн. 8 (Август). С. 595.*
- ВЯЗЕМСКИЙ: *Вяземский А. А. Стихотворения*. Л., 1958 («Библиотека поэта», Большая серия).
- ГАСПАРОВ: *Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка*. Wien, 1992. (Wiener Slawstischer Almanach. Sonderband 24).
- ГЕРШЕНЗОН: *Гершензон М. О. Грибоедовская Москва*.
- ЧААДАЕВ: *Чаадаев П. Я. Очерки прошлого*. М., 1989.
- С. ГЛИНКА: *Записки о 1812 году Сергея Глинки, Первого ратника Московского Ополчения*. СПб., 1836.
- Ф. ГЛИНКА: *Глинка Ф. Н. Письма русского офицера*. М., 1985.
- ГРИБОЕДОВ: *Грибоедов А. С. Сочинения. Воспоминания современников*. М., 1989.
- ЗАГОСКИН: *Загоскин М. Н. Рославлев, или Русские в 1812 году*. М., 1955.
- КАЛЛАШ: *12-й год в воспоминаниях и переписке современников / <Сост. и ред. В. В. Каллаша>*. М., 1912.
- КИСЕЛЕВА: *Киселева Л. Н. Система взглядов С. Н. Глинки // Проблемы литературной типологии и исторической пре-*

емственности. Тарту, 1981. (Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 513. = Труды по русской и славянской филологии. XXXII. Литературоведение.)

- КОЛОГРИВОВА: 1812 год. Из семейных воспоминаний А. Ф. Кологривовой (урожденной Вельяминовой-Зерновой) // Русский Архив. 1886. 7.
- ЛЕРМОНТОВ: *Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.; Л., 1958.
- ЛОТМАН-58: *Лотман Ю. М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. (Уч. зап. Тартуского ун-та. 1958. Вып. 63).
- ЛОТМАН-63: *Лотман Ю. М.* Тарутинский период Отечественной войны 1812 года и развитие русской общественной мысли // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1963. Вып. 139. (Труды по русской и славянской филологии. 6: Литературоведение).
- ЛОТМАН-73: *Лотман Ю. М.* Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // Ю. М. Лотман. Статьи по типологии культуры: 2. Тарту, 1973.
- ЛОТМАН-79: *Лотман Ю. М.* «Повесть о капитане Копейкине»: (Реконструкция замысла и идейно-композиционная функция) // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1979. Вып. 467. (Семантика устной речи: Лингв. семантика и семиотика. 2.)
- ЛОТМАН-81: *Лотман Ю. М.* Риторика // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1981. Вып. 515. (Тр. по знаковым системам; Т. 12: Структура и семиотика художественного текста.)
- ЛОТМАН-94: *Лотман Ю. М.* Люди 1812 года // Ю. М. Лотман. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
- ЛОТМАН-УСПЕНСКИЙ: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» — неизвестное сочинение Семена Боборова) // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1975. Вып. 358. (Труды по русской и славянской филологии. 24: Литературоведение).
- МУРАВЬЕВА: *Муравьева О. С.* Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант «наполеоновского мифа») // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. Л., 1991.
- ОА: Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива // Русский Архив. 1866. № 2. С. 222–243.
- ПЕТРУНИНА: *Петрунина Н. Н.* Проза Пушкина. Л., 1987.
- ПИСЬМА КАРАМЗИНА: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву / Изд. Я. Грот и П. Пекарский. СПб., 1866.
- ПОЭТЫ. . . : Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971. С. 342. («Библиотека поэта», Большая серия).

- ПУШКИН: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М: Изд-во АН СССР, 1962–1966.
- РЕИЗОВ: *Реизов Б. Г.* Пушкин, Тацит и «Борис Годунов» // Б. Г. Реизов. Из истории европейских литератур. Л., 1970.
- САМОЙЛОВА: *Самойлова С. В.* 1812 год. Петербургские письма: Н. М. Лонгинов — М. С. Воронцову // *Russian Studies*. 1995. I. 4.
- СОБРАНИЕ. . . : Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Ч. 1–2. М., 1814.
- СП: Общество литераторов в Нижнем Новгороде, в 1812 году // *Северная Пчела*. 1845. N 72.
- ТАРЛЕ: *Тарле Е. В.* Сочинения: В 12 т. Т. VII. М., 1959.
- 1812 ГОД. . . : 1812 год. . . : Военные дневники / Сост. и вст. ст. А. Г. Тартаковского. М., 1990.
- ТАРТАКОВСКИЙ-73: *Тартаковский А. Г.* Население Москвы в период французской оккупации 1812 г. // *Исторические записки*: 92. М., 1973.
- ТАРТАКОВСКИЙ-80: *Тартаковский А. Г.* 1812-й год и русская мемуаристика. М., 1980.
- ТОМАШЕВСКИЙ: *Томашевский Б. В.* Пушкин: Работы разных лет. М., 1990.
- ХОМУТОВА: *Хомутова А. Г.* Воспоминания о Москве в 1812 году // *Русский Архив*. 1891. Кн. 3. N 11.
- ШАХОВСКОЙ: *Шаховской А. А.* Первые дни в сожженной Москве. <Письмо 1836 г. к А. И. Михайловскому-Данилевскому> // *Русская Старина*. 1889. Т. 64. N 10.
- ЩУКИН: Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. 1–10. М., 1897–1904.
- ЭТКИНД: *Эткинг Е.* «Сей ратник, вольностью венчанный. . . »: Гришка Отрепьев, император Наполеон, маршал Ней и другие // *Revue des études slaves*. Tome cinquante-neuvième. Fascicule 1–2. Alexandre Puškin. 1799–1837. P., 1987.
- WHITE: *White H.* *Metahistory: The Historical Imagination in Ninteenth-Century Europe*. Baltimore–London: The John Hopkins University Press. 1974.
- EMERSON: *Emerson C.* *Boris Godunov: Transpositions of a Russian Theme*. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press. 1986.